

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ДОСТОЕВСКОГО <sup>1</sup>

Придя однажды совершенно неожиданно ко мне, Достоевский торжественно заявил, что он желает, наконец, исполнить давно данное обещание и намерен продиктовать мне свою автобиографию, - сколько успеет. И начал: «Я, Федор Михайлович Достоевский, появился на свет в семье опытного врача, “в рубашке”, которая, по уверению старозаветных людей, должна была принести мне счастье, но принесла только беды да невзгоды... Это к слову, мимоходом... “Опытный” врач, мой родитель, проглядел, что я с самого раннего детства стал проявлять нервность, а когда уже заметил ее, меня не вылечил от нее, и я остался, так сказать, калеккой на всю жизнь. Помните стихи англичанина Уордсварта «Нас семеро»? Вот и у врача было тоже семь детей, ютившихся в маленькой казенной квартирке при больнице (было всего на всего две комнаты), где служил отец, рьяно отдававшийся службе, но не забывавший и нас и все свободное время занимавшийся с детворой. По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив – и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал, и представьте себе, потом они мне пригодились до известной степени, как темы для моих сочинений. Мне шел десятый год, когда отец купил скромную усадьбу в Каширском уезде, Тульской губернии, неподалеку от Белокаменной. Мать моя переселялась <sup>2</sup> в ту деревеньку с нами, едва апрельское солнышко давало себя знать. Там мы и наслаждались дарами природы, там и учились. Мать хорошо нас учила, внушала нам понимание чувства красоты. Я был в неопisanном восторге от нашей деревеньки и моими глубокими впечатлениями делился с матерью, умелой, доброй, изобретательной по части ученья. Это показалось ей недостаточным, и в подмогу себе она пригласила дьякона и учителя французского языка, а отец вдалбливал в нас латинскую мудрость. Каких-нибудь жестоких наказаний мы

---

<sup>1</sup> Красная газета. Вечерний выпуск. 1925. № 47 (735). С. 5.

<sup>2</sup> В печатном тексте: «переселилась».

не знали, а если мы донимали шалостями, то наказание заключалось в том, что и мать, и отец переставали заниматься с нами. Скажу по совести, меня это огорчало, потому что знать мне хотелось как можно больше, и я очень был доволен, когда, с переездом из деревни в Москву, меня и брата Михаила отдали в закрытое заведение – пансион Чермака. Пансион славился отличными преподавателями, среди которых были специалисты, профессора, - и методом преподавания. Летом пансион приостанавливал свою деятельность, и лишь тогда да на большие праздники ученики попадали домой. Надо сказать, что еще до поступления моего в пансион, у нас дома отец и мать читали нам выборки из сочинений наших беллетристов, путешественников и отчасти ученых, и беседовали по поводу них. И вот тут-то я очень обогатился самыми разнообразными знаниями. А когда поступил я с братом в пансион Чермака, там было раздолье по части книг. Мы ими менялись с товарищами, и я читал что называется всасос, и, будучи тринадцатилетним мальчиком, мнил себя едва ли не энциклопедистом, гордым всезнайкой. Так шла прекрасно моя жизнь, но когда мне стукнуло пятнадцать лет, я потерял мать. Потерю эту я оплакивал страстно, и мое душевное состояние невыносимо скорбное...<sup>3</sup> Тогда же мы переехали в Петербург и поступили в какой-то пригготовительный пансион, и тогда же меня зачислили в инженерное училище. Здесь главную роль играли так называемые прикладные знания, но эта сушь мне была не по сердцу тем более, что общее образование было в загоне, и на общее развитие внимания не обращали, так что и мое остановилось на точке замерзания. К этому времени относятся мои первые литературные попытки, и в то же время я опомнился и с необыкновенным усердием набросился на чтение и изучение русских и иностранных классиков и в особенности увлекался Пушкиным, влияние которого на меня было неотразимо и осталось на всю жизнь. Мне было семнадцать лет, когда я лишился отца. Я очутился под опекой, страдал от этого, но 21 года уже окончил курс инженерного училища и зачислен был на службу при инженерной команде столицы».

На этом Достоевский и остановил свою диктовку... Но потом Федор Михайлович так же неожиданно и негаданно еще раз посетил меня. «Диктовки не ожидайте, - предупредил он меня, - я просто буду

---

<sup>3</sup> Так! По-видимому, при наборе пропущено слово «было».

рассказывать Вам о себе, ничего не скрывая, не утаивая ни моих ошибок, ни прегрешений, ни страстей, обуревавших меня... и все еще подчас обуревающих... Вот разве капельку придется дополнить кое-что, кроме изложенного мною, касающееся моего далекого былого, моих переживаний – во дни опасной молодости... Я был одним из петрашевцев, от которых родились социалисты, поклонялся Фурье и в конце концов попал в «мертвый дом», в Сибирь. Там я не печалился, а глубоко скорбел от каторжной жизни, еще больше – от разочарований в том, чем был очарован до смешного... Судите меня, но не за искренность и правдивость. Лжи я терпеть не могу и всегда сурово порицал ее в своих еще юношеских произведениях... В них я неисправимый протестант и, как знаете, дорого за это поплатился. На всей моей жизни отразился полученный мною жестокий урок, и его отражение каждый заметит в моих беллетристических, критических и иных работах. Вот оттого-то я и стал «патриотом из патриотов», пожалуй и «самомнящим».

Достоевский рассказывал о своих впечатлениях с расстановками, задумываясь, замолкая и словно взвешивая рассказ. Говорил он гладко, красиво, образно, часто с большим одушевлением, но отрывочно. Много повествовал о матери, меньше об отце, который, по его словам, мог похвалиться большой ученостью, зато был сух до неприятности. Я с трудом записывал рассказ Достоевского о прожитом, где воспоминания играли главную роль и прерывались сентенциями, иногда прямо афоризмами, нередко самобичеванием: «мне каяться надо, - говорил он, - в самовлюбленности, в корыстолюбии... Может быть, во мне сказывается то, что <sup>4</sup> потомок духовных особ (мой дед ведь был священник)». Федор Михайлович жаловался на «происки рока», и я поспешил записать отдельно сказанный им стишок:

Хоть в жизни не узка моя дорога,  
Но терний много на моем пути  
Обрызган кровью я, в душе тревога,  
Врагов толпа меня карает строго.

---

<sup>4</sup> По-видимому, при наборе пропущено слово «я».

## Куда свернуть? Как далее идти?

Распространяясь об отсутствии у него бескорыстия, Достоевский не без горечи упомянул, что за границей он с азартом играл в рулетку, не останавливаясь при выигрыше и затем дотла проигрался и только благодаря друзьям и приятелям мог вернуться в Россию. Хуже того приключилась с ним беда в молодости: несмотря на предупреждения С.Ф.Дурова, Н.А.Спешнева, А.Н.Плещеева и еще кого-то, Достоевский ринулся в игорный дом, был там обыгран шулерами; с него сняли часы, пиджак и вытолкали из притона. Он хотел с отчаяния броситься в реку, долго, чуть не до утра бродил по берегу и решил искать помощи у друзей. Кто-то из них был в хороших отношениях с приставом того участка, где был игорный дом, - и пристав заставил шулеров вернуть Достоевскому часы и его платье. Федор Михайлович винился старому приятелю Алексею Егоровичу Разину в том, что ради добычи сюжета он отправился в какой-то кабачок, поманил оттуда падшую девушку и провел ночь с нею на постеле, не вдаваясь в грязный порок и до мельчайших подробностей расспрашивая ее о проститутках. Потом это ему послужило сюжетом для интересного рассказа. «И тут, - добавил Достоевский, - меня преследовала корысть!»

Вспоминая о своих частых поездках за границу для лечения, он признавался, что изверился в значении культуры Запада, ибо в ней много фальши, и что, вернувшись в родной край, он еще больше стал любить Россию, при всей затхлости ее воздуха, при ее бессилии «почиститься, обновиться». Федор Михайлович не утаивал своих недостатков. «Меня обвиняли в самолюбии, доходящем до странности, повествовал он – в желании как можно больше выдвинуться; этой правды я не смею отрицать. Я готов был на довольно рискованное предприятие, лишь бы обо мне чаще и больше говорили. Но я еще и труслив, несмотря на свой горячий темперамент и кажущуюся храбрость... Помню, в ранней молодости один из моих товарищей несколько дней подряд говорил мне о холерных заболеваниях в столице, и я совсем упал духом, морил себя почти голодом, пил одно молоко и старался уединиться, чтобы меня не пугали разговорами о холере».

Дальше Федор Михайлович объявил, что на него нашел стих самых откровенных признаний, и ему хочется указать попутно на еще один из недостатков своих – на женолюбие, и в ранней молодости, когда он «распался» при встрече даже только с миловидной женщиной, да и ныне он любит, чтобы хорошенькие почитательницы его дарования сидели на скамеечке у его ног, глядели ему в глаза и чтобы он мог гладить головку этой почитательницы. «Когда вы на днях приходили навестить меня больного, мне показалось, что вас покорило при виде подобной сценки. Как я таял, глядя на мою восторженную почитательницу». От этого признания Достоевский вдруг перешел к воспоминаниям о крепостном праве, о рассказах очевидца о том, какие ужасающие жестокости происходили в те страшные времена, когда Василий Степанович Попов, статс-секретарь Екатерины II, перегонял целые семи крестьян своих, словно стада баранов, из одной губернии в другую, а отсюда опять еще в другое из своих поместьев и считал это нормальным. Тут же Достоевскому пришли на память целые легенды о подвигах пресловутой Салтычихи. Он так горячо ужасался, передавая подробности об этих подвигах современницы не менее ее знаменитого Аракчеева, точно все происходило теперь, в момент эмансипации крестьян, до которой додумалась, наконец, царская власть. «Что творилось! Что творилось! Ныне даже и не верится!» - восклицал патетически Достоевский – и его лицо бледнело от волнения, сопровождавшегося усиленным сердцебиением. Когда Федор Михайлович успокоился, я спросил его, проверен ли составленный для него список его произведений, данный ему мной. Он вынул конверт с этим списком и сказал: «Верно, очень верно!.. Но есть и пробел: четыре пропущенных фельетона о петербургской жизни, помещенные в одной газете 40 годов, не скажу в какой. Их должна отыскать ваша библиографическая опытность!» Я их нашел, конечно, довольно скоро, и когда посетил его, указал их местонахождение. Федор Михайлович таинственно сказал: «Никому не говорите об отыскании этих фельетонов. Они ваши! Владейте ими по праву и делайте с ними, что угодно!» И я пользуюсь своим правом... К своей автобиографии Достоевский уже более не возвращался, хотя и обещал продлить ее. Обещанию не суждено было сбыться.